

Александр Куприн

Обыск



Александр Куприн

Обыск

«Public Domain»

1930

Куприн А. И.

Обыск / А. И. Куприн — «Public Domain», 1930

«Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года, и даже точнее: к десяти часам вечера по календарю и к часу утра по совдеповскому времяисчислению. Собралась у меня наша привычная преферансная публика: отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник, инженер-электрик – маленький, толстенький, похожий на степного попугайчика, в белом фуляровом галстуке и я. Жена принесла нам солидное угощение: чай из сушеной морковной ботвы (отвар весьма вкусный и полезный), пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки...»

© Куприн А. И., 1930

© Public Domain, 1930

Александр Иванович Куприн

Обыск

Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года, и даже точнее: к десяти часам вечера по календарю и к часу утра по совдеповскому времяисчислению.

Собралась у меня наша привычная преферансная публика: отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник, инженер-электрик – маленький, толстенький, похожий на степного попугайчика, в белом фуляровом галстуке и я. Жена принесла нам солидное угощение: чай из сушеной морковной ботвы (отвар весьма вкусный и полезный), пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки. Она же умело разбавила заветные двадцать пять граммов аптекарского ректи – стоимость двенадцатикратного цейсовского бинокля.

Мы с удовольствием подкрепились, попили чайку, закусили, похвалили золотые хозяйские ручки. Потом кто-то сказал:

– Зачем же нам терять золотое время?

Другой поддержал:

– И правда, не заняться ли делом?

А я закончил:

– Чтоб укрепить нам алианс, сыграем, братья, в преферанс.

Пулька наша была старинная, ладная, давно сыгравшаяся. Нам уже не надо было ни в чем договариваться. Все знали, что играем по четверти копейки, с четырьмя разбойниками на каждого и с розыгрышем распасовок. За долгое время практики мы уже безошибочно привыкли к своеобразным жестам и к любимым поговорочкам партнеров.

Отец Евдоким купил на шесть без козыря. Я нарочно протянул руку, делая вид, что хочу придвинуть ему прикупку, и заранее знал, что он загородит ладонью карты и скажет:

– Нет уж, пожалуйста. Я уж сам в моем курятнике похозяйничаю.

Затем он осторожно и медленно вскрыл одну за другой обе карты, заслоняя их от партнеров широким рукавом рясы.

Лицо его стало совсем кислым и разочарованным. Он покачал головою, вздохнул и сказал уныло:

– Готов Тартаков! Вынужден играть семь пик. Зарвался!

– С присидцем, отец Евдоким? – лукаво спросил полковник.

– Какой тут присидец? Дай Бог свое отыграть.

Молча зашлепали толстыми грязными картами. Свежих уже нигде нельзя было найти с тех пор, когда современный нам Калиостро, он же талантливый актер и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский, одним росчерком пера реквизирует все карточные запасы с клеймом Воспитательного дома: «Пеликан, кормящий своих детей собственным мясом».

Вскоре батюшка очутился «в коробке». Предстояло ему: или бить тузом козырную даму, или прорезать маленькой. Все зависело от того, на чьей руке король. Положение было тяжелое и рискованное. Отец Евдоким уже постучал нервно ногтями по краешку стола. Партнеры ожидали, что он сейчас вытащит одно из своих любимых присловий – скажет: «Стала она призадумывать себя», или крикнет и воскликнет, точно в ужасе: «Тут-то Менделеева и передернуло!»

Он поглядел пронзительным взором на своих контрапартнеров – инженера и полковника, но их лица были холодны и замкнуты. Счастье мое, что я, как сдававший, в игре не участвовал: я бы никак не устоял перед этим пытливым взглядом.

– Да-а-а, – протянул отец Евдоким. – Да-с. Тут-то Менделеева и...

И вдруг священник мгновенно умолк и стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Мы все невольно повернули головы в этом направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная Катерина Матвеевна, наша кухарка и наш давний друг, родом из Гдовского уезда, похожая обычно на каменную глыбу, но теперь совсем растерявшаяся. За ее спиною тускло поблескивали лезвия примкнутых штыков и смутно шевелились толпившиеся в передней люди. Катерине Матвеевне казалось, что она что-то говорит, губы ее двигались, но из них не выходило ни одного звука.

Это пришли ко мне с обыском: четыре распоясанных, растегнутых солдата – настоящие вооруженные михрютки – под командованием стройного белесого маленького латышонка, туго и ловко одетого в походные желтые ремни новенького хаки. Шестым был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке; правой руки у него не хватало по локоть.

Два солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату. Однорукий протянул перед собою грязный почтовый листок и сказал:

– По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск. Прошу кого-нибудь из хозяев следовать за мною.

Я встал, но жена сказала мне движением ресниц – сядь. Я все сделаю сама.

Я послушался. В некоторых серьезных случаях женскому темному инстинкту нужно повиноваться без рассуждений. Она отлично знала, что в ту злую пору во мне еще не улеглась, не угасла склонность к сарказму и вредная невоздержанность на слово. Кроме того, у нее в разных таинственных уголках и ящичках комодов, буфетов и шифоньерок были тщательно схоронены крошечные пакетики с белой мукой, разного сорта крупами, сахаром, шоколадом, спиртом, табаком и другими вещами на случай изнурения или болезни. Эти скудные припасы вскоре настоятельно потребовались нам, когда дочка наша и я заболели жестокой дизентерией после употребления в пищу жмыхов.

Конечно, беглый и невнимательный взгляд не мог бы сразу наткнуться на эти сокровища, если бы его не натолкнула какая-нибудь причина или примета. Потому-то обыскиваемому надо иметь при обыске свою душу в спокойных, холодных и уверенных руках. Но я бы, например, сопутствуя обыску, я бы, пожалуй, смог заставить себя молчать, не поднимать опущенных век и уж никак не косить глаза на питательное «табу». Но не думать о предметах и мысленно не видеть их – это было бы свыше моих психологических сил. А ведь давно известно, что такое душевное напряжение непременно, как гипноз, передается мозгу мало-мальски опытного сыщика... и тут конец.

А ну-ка, закажите себе в течение двадцати минут не думать о белом медведе!

Однорукий комиссар и нарядный латыш пошли за женою. Она была восхитительно хладнокровна. В дверях столовой комиссар сказал ей любезно:

– Мы, собственно, интересуемся английской корреспонденцией вашего мужа. Поэтому, во избежание лишней возни и потери времени, покажите нам место, где находятся все его рукописи и документы. Домашних ваших пустяков мы трогать не будем.

«Хороши пустяки, – подумал я. – А заряженный на все восемь гнезд револьвер «веладог», который затиснут в узкое пространство между ванной и стеной? А наган, лежащий под плинтусом на террасе?» Слава Богу, что жена отвела меня от этой игры в обыск.

Мы четверо остались на тех же местах. Над нами стояли сонные, грязные, вонючие, поминутно чешущиеся за пазухой и зевающие солдаты. Я предложил докончить пульку. Но мои добрые друзья зашипели на меня:

– Какая уж тут пулька! Вы лучше спрячьте поскорее карты, пока не поздно. Сами знаете, как на это теперь смотрят. Да и вообще, тут для нас в чужом пиру похмелье. Ну, мы понимаем, вы писатель, вы там могли что-нибудь такое написать. А за что же нас-то арестовали?

Вообще, они явно впадали в панику. Отец Евдоким сказал:

– Моя матушка точно предвидела. «Не ходи да не ходи. Что тебе по ночам шататься?» Да и мне, признаться, не особенно-то хотелось идти. Нет! Понесла-таки нелегкая.

И, заметно, они на меня глядели враждебно. К счастью, обыск продолжался недолго. Минут через двадцать одноруким с латышом вслед за женою вошли в гостиную. Партнеры мои были немедленно и очень вежливо отпущены по домам. Должен все-таки сказать, что, по торопливости, ни один из них не попрощался с хозяевами дома.

Большевики оказались людьми гораздо более светскими. Одноруким попросил позволения сесть для составления протокола, а латыш, щелкнув каблуками, спросил:

– Не разрешите ли покурить?

Они опустошили весь мой огромный письменный ясеневый стол снаружи и изнутри, а также американский классер со множеством полок и все их содержание вывалили горой на стол под большую лампу с широким золотистым абажуром. Там было несметное количество писем, деловые бумаги, контракты с издателями, десяток записных книжек, множество фотографических карточек, а больше всего черновиков – начатых и неоконченных повестей, беглых заметок, шуточных стихов и тому подобного мусора. Были и письма иностранцев, но они касались исключительно моих сочинений и никакой политикой не пахли.

Одноруким начал было составлять подробную опись всем этим забранным предметам, но потом махнул рукой и спросил:

– Нет ли у вас каких-нибудь весов?

Весы нашлись, кухонные, медные, с плоской круглой тарелкой. Их принесли. Комиссар быстро взвесил весь реквизит и дал нам расписку в том, что принял вещей на девять фунтов. Весь бумажный скарб был затем упакован и запечатан.

– А теперь, – сказал одноруким, – вы уж нас извините, но по распоряжению Революционного трибунала мы обязаны доставить вашего супруга в местный совдеп, до дальнейших указаний.

– Можно ли мужу взять с собою некоторые необходимые вещи? – спросила хозяйка.

– Нет, зачем же? Если хотите, товарищ, возьмите с собою запас папирос. Больше вам ничего не понадобится. И дело ваше, по-видимому, совсем пустяшное... Какое-нибудь простое недоразумение... Сегодня же ночью, а самое крайнее завтра поутру вы будете свободны. Пойдемте, товарищ.

Мы вышли из дома и пошли по Елизаветинской улице: впереди – два солдата, позади – другие два с бравым маленьким латышом, посредине – я с комиссаром. Время перевалилось за полночь. Большие чистые звезды дрожали и переливались в черном низком небе. Ноги наши упруго и мягко ступали по слегка влажной дорожке. Смолисто и волнующе пахли развертывающиеся почки берез. Из палисадников доносился легкий радостный аромат зацветающей сирени. В такую пору, думалось мне, глухарь только что перестал играть свои страстные любовные песни, а тетерев на рассвете вот-вот начнет токовать. Господи! Как невыразимо прекрасны Твои ночи!

С жалостью и горькой злобой мелькнуло чувство утерянной свободы, и я, неожиданно для себя, громко спросил однорукого:

– Хорошо, а все-таки за что же меня арестовали?

– Не знаю, – сказал он грубо, точно твякнул. – Да если бы и знал, то не уполномочен вас осведомлять.

Черт его возьми! На улице он растерял все свое джентльменство.

По Соборной улице и проспекту Павла I мы дошли до совдепа. Помещался он в старинном просторном деревянном чудесном особняке, где раньше жилали из поколения в поколение господы командиры синих кирасир. Теперь гордый полковой штандарт был сорван с вышки и заменен грязным красным бабьим передником.

Я бывал в этом прелестном домике в начальные годы войны, вплоть до семнадцатого, когда в нем проживал в качестве гатчинского коменданта старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Бонячевский, который несколько свысока дарил меня своей благосклонной дружбой. Как все русские добрые генералы, он был не без странностей. Говорил он врасстяжку, хриповатым баском и величественно не договаривал последних слогов: замеч-а-а... прекра-а-а-а, превосхо-о-о...

Чудаковат он был. Приезжая к нам домой инспектировать наш солдатский госпиталь, он неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял «Новое время» и «Колокол». Не терпел «Речи» и «Биржевки».

– Слишком либера-а-а... И надеюсь также, что сочинений Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважа-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, преждевре-е-е...

У него была еще одна генеральская слабость: живопись акварелью. В свободные минуты он собственноручно раскрашивал комнатные стенные шпалеры, изображая на них – где дорогу в хвойном лесу, где тройку, засыпанную снегом, где березовую беседку. Чисто по-детски радовался он всякой похвале и печалился только о том, что ему не давались человеческие лица.

Идя теперь вслед за одноруким по комнатам особняка, я узнавал сквозь мутный свет керосиновой лампы милые незатейливые картинки Дрозда-Бонячевского и с печальным умилением думал: «Где же ты теперь, милый Дрозд, со своими теплыми странностями, человек, не причинивший никому огорчения в течение своей большой жизни?»

Меня привели в самый верхний этаж, в бельведер с просторным балконом. Пахло затхлостью неотворяемого помещения.

Я взялся за ручку, чтобы открыть дверь, но комиссар быстро отвел мою руку.

– Этого вы уж, пожалуйста, не делайте. Очень прошу вас! А лучше ложитесь-ка спать. Поглядите-ка, кресла-то какие царские! Об окне же и думать оставьте. Если ночью высунетесь наружу, то часовой раздробит вам голову пулей. Да, впрочем, и я проведу всю ночь, не отходя от вас. Хороших снов!

Старинное прапрадедовское раздвижное кресло из какой-то потрепанной, но нежной, неизъяснимой кожи было широко и уютно. Мне не спалось. Каждый раз, когда я закуривал папиросу, то в красноватом освещении мне мерещился зорко следящий за мною глаз.

Сосед мой не храпел, не бредил, но каждый раз, когда я переменял положение тела, он почти беззвучно шевелился.

Должно быть все-таки, что прерывисто, на секунды, я засыпал очень глубоко, потому что порою, открыв глаза, я видел сначала серо побледневший воздух за окном, потом – удивительно чистое голубое небо, чуть тронутое по краинам розовой тонкой окраской, потом заорали петухи и я почувствовал солнечный восход.

– Хотите, я открою окно? – спросил однорукий, поднимаясь на своем кресле.

– Пожалуйста.

Какая радость вторгнулась к нам на мансарду, когда широко распахнулись большие полукруглые рамы навстречу весне и солнцу. В первый раз мне тогда пришло в голову: почему это наш тихий исторический посад называется так непонятно, по-чухонски, Гатчина? По-настоящему ему бы надо было называться посадом Сирень. Теперь, стоя на высокой вышке, я понял, что никогда еще и нигде за все время моих блужданий по России я не видел такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные домами домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и, в особенности, дворцового парка и его окрестностей.

У государыни Марии Федоровны сирень была любимым цветком, и она разводила ее с необычайным вниманием, со щедростью и заботой. За нею же потянулась, из подражания двору, вся оседлая Гатчина.

Как радостно и странно было глядеть сверху на этот мощный волнистый сиреневый прибой, набегавший на городишко жеманно-лиловыми, красно-фиолетовыми волнами и белыми грядами, рассыпавшимися, как густое белое овечье руно...

Однорукий комиссар поднялся снизу и сказал:

– Однако собирайтесь. Сейчас поедете на автомобиле в Петроград в Революционный трибунал.

– Это где же находится? – спросил я.

– В бывшем дворце бывшего Николая Николаевича.

– Что же? Он и Николай Николаевич перестал быть?

– Всех поскидали, – ответил однорукий мрачно. – Дальше и не то еще будет... Пойдемте. Автомобиль дожидается.

Мы уселись. Спереди – шофер и давно известный мне, давнишний, насквозь пропитанный злобою влиятельный большевик. Позади – я со вчерашним латышом, который был свеж, чист и весь подтянут ремнями, как будто бы только сию минуту выскочил из специальной фабрики, где выделяются эти нарядные белобрысые латыши с ледяными, на заказ, душами. Однорукий исчез. У ворот совдепа толпились жители. Я успел найти между ними женское лицо и поймать ласковую ободряющую улыбку.

Легкий изящный пежо, тоже мой хороший знакомый, принадлежавший Гатчинской авиационной школе, бойко покатился по проспекту Павла I, густо обсаженному с обеих сторон пахучими березками, мимо артиллерийских казарм и заставы, мимо Пулковской обсерватории, по широкому шоссе. За всю нашу довольно длинную дорогу никто из нас четверых не обмолвился ни словом. Я – почему же не сознаться? – немножко нервничал, и беспрестанно курил, и каждый раз, закуривая новую папиросу, предлагал, по курительной массонской этике, другую моему латышу, и он принимал ее безмолвно и серьезно, точно мы с ним исполняли какую-то серьезную обязанность.

Так мы доехали до Нарвских ворот, завернули на Обводный канал, пересекли многоводную, тяжелую, темно-синюю Неву и, оставив за собою Петропавловский собор, остановились у малых ворот прекрасного дворца великого князя Николая Николаевича Старшего.

Латышонок быстро соскользнул с автомобиля, позвонил у железной решетчатой двери, скрылся на минуту за нею и вскорости выскочил обратно.

Он и тут не издал ни звука, а только поманил меня рукой.

Мы вошли в просторную, но невысокую комнату, весело освещенную двумя огромными полукруглыми окнами с цельными в высоту и в ширину зеркальными богемскими стеклами. По всем сторонам этой комнаты тянулись низкие скамьи, обитые Манчестером, рисунок которого я сначала принял за настоящий текинский ковер. Вероятно, в прежние времена здесь помещалась не парадная, а просто деловая приемная.

К этой приемной прилежала другая полутемная комната высотой не больше среднего человеческого роста, освещенная крошечной электрической лампой. В этот-то просторный и низкий чулан и завел меня шеголеватый латыш. Немного освоившись с утлым светом, я увидел в глубине помещения простые деревянные нары, а ближе к выходу стоял небольшой солдат в серой шинели и с ружьем.

Латыш сказал ему:

– Вот, товарищ, сдаю вам арестованного. Примите и следите за ним. Теперь он находится на вашей полной ответственности.

А мне он сказал:

– До приятного свидания, – и вышел, оставив меня наедине с солдатом. Потом, гораздо позднее, я услышал кое-что об этом прилизанном юном латышонке. Говорили, что во всех Чека и во всех тюрьмах, где он служил, не было подобного ему ненасытного убийцы и холодного истязателя. Имя его у меня выпало из памяти.

Я успел хорошо разглядеть солдата. Он был маленький, но крепкий и ладно сделанный парнишка. В своей серой, не по росту большой шинели он был похож на мило неуклюжего медведя-овсяника.

Минут пять мы с ним помолчали. Потом он заговорил. В тоне его было грубое участие:

– Что, брат, засыпался? Я вежливо помычал.

– Да говори уж. Чего там стесняться? На чем вляпался-то? Небось, налетчик? Или шпикулянт?

У меня давно уже в голове роились мысли о том, что мой арест связан с каким-нибудь из моих антибольшевистских фельетонов.

Я сказал:

– По правде, и сам не знаю. Сам я газетчик, в газетах печатаю. Вот и думаю, что написал что-нибудь против начальства, а оно меня и засадило.

Солдат укоризненно покачал головой, вытер большим пальцем под носом и сказал, причмокнув:

– Э, папаша, начальство обижать – это, брат, неладно. Начальство, голубчик, надо всегда уважать. Это ты, братец, напрасно сунулся.

Солдат замолчал и на минуту прислушался.

– Держись! – сказал он. – Это наш комендант идет.

Комендант трибунала матрос Крандиенко так крепко врезался в мою память, что и теперь, через двенадцать лет, мне очень легко вызвать его сумбурный образ: лихо загнутая матросская шапка чертовой кожи, ослепительная белая рубаха, вышитая малорусским красным узором, запрятана в необычайной, гоголевской ширины шаровары, ниспадающие до сапожных лаковых носков, на груди, на солидной золотой цепочке, массивные золотые часы с «двуглавым орлом» – «Личный государев подарок, – говорил Крандиенко, – в память тех дней, когда я плавал на “Штандарте”...» (Да, вероятно, врал?)

Странна была наша встреча.

Я сидел на табуретке. Он вошел, сел на угол стола и заболтал ногою.

– Ага! пожаловали в нашу гостыницу, – заговорил он с ярким малорусским акцентом. – Добре, добре. Тут у нас на нарах иногда ночует развеселая компания. Но как только надумаете бунт или побег – расстреляю к чертовой матери. Кстати, – продолжал он, – звонила по телефону ваша супруга. Спрашивала, какие вещи вам требуется привезти.

Я начал перечислять:

– Папиросы, спички, четыре свечки, мыло, одеколон, десть бумаги, перья и чернила, – и т. д., и т. д.

– А еще что?

– Красного вина, хотя бы удельного.

Сколько? Полбутылки? Бутылку? Ну, бутылки две, самое большее – три... Ну, еще ночное белье и постельное.

– Так и передам. А ананасов и рябчиков не желаете?

Я понял, что он издевается надо мной, и замолчал. Он посидел еще немного, рассеянно повистал «Виют витры», поболтал ногою и ушел. Потянулось скучное время дурацкого безделья. Солдат дремал, кивая носом, прислонившись к стене и опершись на ружье. Где-то близко за стеною наярывал без отдыха голосистый гнусавый фонограф. – Кто это играет на граммофоне? – спросил я.

– А, тут наша матросня. Делать им нечего, так и целый день заводят эту машину да подсолнухи лузгают.

И опять зеленая скука. Опять дурацкие нудные мысли. И вдруг снова приходит комендант Крандиенко, на этот раз с открытым и оживленным лицом.

– Можете выйти из этой буцыгарни и можете хоть, где вам угодно, по всему дворцу. Так приказал председатель трибунала. Да и правда, здесь для вас темно и еще вошей можете набраться. Идите, ну. Спать будете на коврах, я и подушку вам устрою. С семьей вам не воспрещено видаться. А теперь прошу со мной увместе пообидать.

Еда у него была простая, но вкусная, сытная. Во время обеда привели ему каких-то мокрых, грязных псов.

– Скобари? – закричал он на них.

– Точно так... Скопские мы...

– Сейчас же расстреляю, к чертовой матери! Денисенко! Вестовой! Веди эту шпану на кухню и накорми, а потом – в темную, У меня так, – обернулся он ко мне, – первым делом забочусь об арестованных, потом о служащих, а потом только и сам «поим». Мое правило.

К вечеру, когда мы с Крандиенко пили чай, приехала моя жена.

– Ты жив!? – вскричала она, ощупывая мое лицо, и вдруг накинулась на коменданта.

– Что это за безобразие у вас творится? Я спрашиваю: как чувствует себя мой муж? А какой-то глупый осел бухнул мне в телефон: «Расстрелян, к чертовой матери».

Крандиенко улыбнулся светло и широко, от уха до уха...

– Не сирчайте, товарищ Куприна. Це я пошутковав трошки.